

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
МОЕГО ВРЕМЕНИ (1891—1895)

Годы моего пребывания в стенах университета внешне были спокойными годами для моей *alma mater*.

Наша профессура имела в своей среде выдающихся ученых с европейскими именами и пользовалась искренним уважением, а часто и любовью студентов. Историю русского права увлекательно читал, без сомнения, самый популярный из наших профессоров Василий Иванович Сергеевич, автор замечательных «Русских юридических древностей» и многих других весьма ценных научных трудов. Его лекции происходили в самой обширной девятой аудитории, всегда переполненной до отказа и не только нами, юристами, но и слушателями других факультетов. Яркий, образный русский язык, своеобразное, необыкновенно убедительное научное мышление, развертывавшее перед нами исторически сложившиеся основы русского правосознания, производили на нас неотразимое впечатление и вызывали большой интерес к преподаваемой нам науке.

Дружные аплодисменты при начале лекции и овации при ее окончании были постоянными спутниками выступлений перед аудиторией нашего любимого профессора, провожать которого при уходе во всю длину нашего нескончаемого университетского коридора, — соединявшего некогда все 12 коллегий Петровского времени — стало традиционным явлением. Представительный, в форменном вицмундире безукоризненного покроя, с золотыми очками, Василий Иванович шел своей обычной медленной, величавой походкой, окруженный студентами, продолжая беседовать с ними и обстоятельно, неторопливо отвечая на задаваемые ему вопросы.

Требовавшееся от нас зачетное сочинение по одной из входящих в наш курс дисциплин я написал и, кажется, довольно удачно, по истории русского права, на-

избранную мной по соглашению с профессором тему: «Бояре древней Руси». Сочинения Ключевского, Яроцкого, Забелина и самого Сергеевича — необходимые источники для моего труда — долго не сходили с моего письменного стола. Впоследствии я их неоднократно перечитывал и всегда с неизменным интересом.

Василий Иванович был большим меломаном и постоянным посетителем симфонических концертов императорского Русского музыкального общества в Дворянском собрании, на которых у него было свое, абонированное место.

Профессор Коркунов читал нам общую теорию права и философию права. Он был гениальным ученым, и его «Общая теория права» была трудом капитальным, обогатившим русскую юридическую науку. Читал Коркунов глуховатым, не всегда приятным голосом, без какого-либо намека на ораторские приемы, но тем не менее весьма убедительно и воодушевленно.

В личной жизни Коркунова был какой-то надрыв, для нас, его слушателей, и чуждый и непонятный, приведший его впоследствии к тяжелой душевной болезни. Помню его сидящим в концертных залах, в малоестественной небрежной позе, с мутным взглядом потускневших глаз, устремленных в одну точку и почти всегда направленных на кого-либо из слушателей, а чаще из слушательниц, что навлекало на него иногда серьезные неприятности.

Вскоре после описываемых мною годов Коркунов отошел от научной работы, и в лице его университет и русская юридическая наука безвременно потеряли одного из даровитейших своих представителей.

Гражданское право и процесс читал нам обаятельный, блестящий и светский профессор Дювернуа. Весьма близкий ко двору великой княгини Екатерины Михайловны, покровительницы искусств, а особенно музыкального, профессор императорского Александровского лицея и Училища правоведения, Дювернуа был весьма живым, увлекательным лектором и пробуждал в нас значительный интерес к своей науке, которая по самой природе своей не могла особенно воздействовать на воображение слушателей.

На выпускном экзамене по гражданскому праву мне достался билет, отвечая на который я мог kostenуться

одной брошюры Дювернуа, посвященной им «памяти сына»; это брошюра освещала юридическое положение личности по римскому праву и очень заинтересовала меня при чтении. Я был рад иметь возможность изложить основные положения этой брошюры в моем ответе.

Дювернуа слушал меня очень внимательно и одобрил, а по окончании моего ответа спросил: «Вы, вероятно, думаете специализироваться по гражданскому праву?» На что я, будучи тогда на твердом пути в моих музыкальных занятиях, ответил: «Нет, не думаю — ведь я музыкант». «Ну, вот, оттого-то и было приятно вас послушать», — с улыбкой сказал Дювернуа, несколько озадаченный, вероятно, моей неожиданной репликой.

Уголовное право и уголовное судопроизводство читали нам два профессора: И. Я. Фойницкий и Н. Д. Сергеевский. Общего между ними было лишь то, что оба были выдающимися учеными и превосходными лекторами и оба имели неоспоримый авторитет среди своих слушателей. Лекции их весьма ценились и охотно посещались студенчеством.

Во всем остальном «лед и пламень» не столько различны меж собой, как различны были наши два руководителя по столь важным дисциплинам. Маленький, щуплый, чахоточный, всегда полуживой с виду Фойницкий, читавший слабым, уставшим голосом, с сильным носовым произношением, задыхаясь и медленно растягивая слова, и рослый сангвинический здоровяк Сергеевский с его громкой, быстрой и живой речью — были столь же не сходственны между собой и в отношении самой же науки. Убежденный гуманист и представитель либеральных течений в науке, Фойницкий был ярым противником смертной казни; Сергеевский же более подходил под тип, как тогда говорили, «крепостника», и был на стороне защитников этой «высшей» меры наказания, на которая, как известно, будучи широко применима по преступлениям политическим, в самом уложении фигурировала лишь в трех случаях: матереубийство, убийство священнослужителя в храме во время богослужения и убийство мастера его подмастерья.

Столь коренное противоречие наших менторов во взглядах естественно отражалось на освещении ими тех или иных институтов уголовного права, что ставило нас, студентов, на экзаменах, производившихся обоими про-

фессорами, в весьма затруднительное положение. Отвечать у Сергеевского по «Фойницкому» и у Фойницкого по «Сергеевскому» — значило идти на верный провал в обоих случаях, так что аспирантам приходилось очень и очень лавировать, чтобы избегнув Харибы, не попасть в Сциллу<sup>87</sup>.

Не будучи «властителями дум» наших, оба эти достойные представителя русской юридической науки имели большое влияние на слушателей и пользовались их уважением, а Фойницкий и искренней симпатией многих из нас. Дальнейший жизненный путь их был также не одинаков. Фойницкий пребывал бессменно на своей кафедре, а Сергеевский сменил ее на кресло сенатора, «по назначению».

Яркой, красочной фигурой был профессор Мартенс, общепризнанный авторитет по вопросам международного права, которое он преподавал; ученый с европейской известностью, постоянный участник различных международных съездов и конференций как в России, так и за границей. По самой внешности своей и по своему безграницей. По самой внешности своей и по своему безграничному элегантному костюму (корректный, на глухо застегнутый черный сюртук) профессор Мартенс имел скорее вид аккредитованного посла какой-либо значительной державы, к чему, впрочем, он, кажется, всегда и стремился.

Читал он своеобразным, каким-то светским, изнеженным, фатоватым тоном, что очень шло к его внешнему облику, столь отличному от общего типа представителей нашей профессуры. Самый предмет свой, столь злободневный и живой, он излагал очень увлекательно, пересыпая иногда строго научное изложение эпизодами анекдотического свойства, подтверждающими или освещают-щими то или иное его толкование, всегда остроумно и с большим тактом. Его лекции собирали полную аудиторию и имели большой успех.

Церковное право читал нам ученый богослов, заслуженный профессор, протоиерей Горчаков. Он был очень хорошим лектором и авторитетом по церковному праву и по вопросам церкви вообще. Профессор Горчаков имел свою, не слишком обширную, но постоянную аудиторию и прекрасно, в яркой, выпуклой форме излагал свой курс. Экзамен по церковному праву был серьезным и считался весьма важным для диплома.

Официальный курс богословия был поручен протоиерою, профессору Рождественскому, который, якобы, в противовес живому, легко усваиваемому изложению Горчакова, читал свой предмет весьма схоластически и туманно.

Впоследствии, вскоре по окончании консерватории, я был приглашен в качестве преподавателя хорового пения и теории музыки в Санкт-Петербургский Мариинский институт, в котором настоятелем институтской церкви был мой бывший профессор церковного права. К его высоко симпатичному и достойному облику, запечатлевшемуся в моей памяти со студенческой скамьи, наши редкие встречи в институтских коридорах не прибавили чего-нибудь нового, но через его отношение к одному лицу, тесно с ним связанному по службе в институте, Горчаков предстал передо мной в совершенно ином, христиански-пастырском свете.

Мои занятия с воспитанницами института происходили в вечерние часы и, когда я входил в обширную институтскую канцелярию, служившую также и «сборной» комнатой для преподавателей, то заставал ее уже пустой и полутемной, и единственным неизменно пребывавшим в ней в эти часы лицом был наш институтский отец дьякон, неизменно корпевший над какими-то разграфленными, огромного формата ведомостями.

Дело в том, что отцу дьякону была препоручена большой важности работа, повседневная и непрерывная по самой своей природе. Как институтки кушали каждый день, так и отец дьякон день за днем вел свою нескончаемую летопись всего ими за день скушанного.

В эти вечерние часы он бывал обыкновенно весьма склонен к беседе, а иногда пребывал в каком-то блаженном, восторженном состоянии, происхождение которого вскоре для меня стало ясным. В одном из карманов его широкой дьяконской рясы находилась некая «бутылочка», к которой он в течение занятий и прикладывался весьма усердно. Ко мне, как к единственному в это время собеседнику и невольному конфиденту, отец дьякон скоро привык и даже почувствовал ко мне известную симпатию «за то, что я музыкант». Иногда он и мне предлагал «потянуть» из горлышка «живительной власти», как он это сам делал. Первое время он обижался моим отказом, а потом перестал предлагать, но сам не-

уклонно «выкушивал» во время нашей беседы «во славу божию».

В течение тех десяти минут, которые полагались между уроками, он непрерывно занимал меня своими рассказами, относившимися, главным образом, к его частной деятельности по дьяконской части в кладбищенской церкви на Охте (по ту сторону Невы).

Я не мог понять, происходили ли эти гастроли сведома и благословения его строгого настоятеля или он просто смотрел на них «сквозь пальцы» ввиду многосемейности отца дьякона, или по каким-либо другим причинам. Одно лишь было мне ясно, это то, что охтинские кладбищенские «отхожие промыслы» были для дьякона самым светлым и едва ли не самым значительным явлением в его многотрудной и малорадостной дьяконской жизни. Он с увлечением, подробно делился со мной всеми своими удачами и неудачами в этой сфере его деятельности; получал ли он нежданное приглашение, или, наоборот, «его обошли», тогда как он ожидал быть приглашенным; большее или меньшее «благолепие» выполнения погребального обряда также подвергалось его всестороннему критическому обсуждению. Отец дьякон был также тонким ценителем и знатоком предлагавшихся по обычаям духовнику «поминальных трапез» и хорошо помнил все «яства и пития», из которых они состояли.

По внешнему виду отец дьякон был неказист: невысокого роста, плешивый, с жиденькой косицей и с редкой полувыщипанной бородкой, с ясными следами «прилежания к чарочке» на лице. Непонятно, как мог он нести свой сан при настоятеле, столь достойном, столь строгой праведной жизни, каким был протоиерей Горчаков? Как смог отец настоятель защитить и сохранить «сласослужащего ему дьякона, человека, несомненно, «славного», в чопорной институтской среде, да еще при такой взыскательной и властной начальнице, как Мария Александровна Ольхина? Думаю, что в этом случае отец Горчаков следовал заветам евангелия и своему глубокому пониманию возвышенной сущности христова учения.

Среди многочисленных научных доктрин, преподававшихся на юридическом факультете, я ожидал многого от курса римского права, так как в гимназии, будучи хорошим латинистом, очень интересовался всем, относившим

шимся к классической римской эпохе, начиная от курса истории искусства, бывшего для меня, как для будущего композитора, особо важным и, можно сказать, необходимым для моего эстетического развития. Увы, профессор Ефимов, читавший римское право, был, что называется, «зауряд»-профессором и как бы «отчитывался» перед нами в своей науке, не успев вызвать в нас какого-либо значительного к ней интереса.

Что же касается профессора Кондакова, впоследствии знаменитого ученого, который должен был читать нам историю искусств, то за все четыре года моего пребывания в стенах университета при записи на слушание этого курса нам заявлялось: «Приват-доцент Кондаков в командировке», и приготовленные нами для уплаты за право слушания курса истории искусств два рубля с грустью возвращались в нашу мошну.

Неужели нельзя было найти временного заместителя отсутствовавшему профессору и было ли справедливо, что я вышел из университета круглым невеждой в отношении к этому, столь для меня интересному и столь близкому к предстоявшей мне артистической деятельности предмету?

Политическую экономию я слушал у даровитого профессора Георгиевского, интересные лекции которого не собирали, однако, полной аудитории, ввиду не весьма большой популярности преподаваемой им науки в среде студентов моего времени.

Нашим ректором, весьма уважаемым и любимым, был декан филологического факультета профессор Никитин (филолог по кафедре).

Он был весьма тактичным, умным и доброжелательным человеком и умело вел свой университетский корабль; каких-либо особых бурь и потрясений университет при нем не испытывал. Основанная им и находившаяся в его распоряжении «касса взаимопомощи» нередко выручала студентов в трудные дни их бытия.

Петербургское студенчество моего времени жило весьма разрозненно и было объединяется лишь по двум признакам, по одному более внешнему, а по другому более внутреннему. Внешним признаком объединения являлась обязательная для всех студентов форменная одежда, а внутренним — непреодолимая склонность студенчества к празднованию дня основания университета (8 фев-

раля)<sup>88</sup>, со всеми вытекающими из этой склонности последствиями. Знаменательный день сей объединял не только студентов, но и всех бывших питомцев нашей *alma mater*.

Начинался он торжественным актом в парадной университетской зале, в присутствии всевозможных властей и начальства, с официальными и научными речами и с музыкальной программой, исполнявшейся студенческим оркестром под управлением Главача.

Продолжался и заканчивался этот день нашего праздника, увы, всегда более или менее неблагополучно, уже по ту сторону Невы, под гостеприимным кровом ресторанов, трактиров, пивных, закусочных лавок и других им подобных учреждений, которыми была столь богата наша первопрестольная столица. Отдельные группы бывших студентов собирались в этот день для совместной трапезы по «выпускам», к которым они принадлежали.

Если верить молве, то однажды веселая компания пировавших студентов послала со своего обеда приветственную телеграмму писателю Салтыкову-Щедрину, подписав ее: «Ежегодно обедающие студенты», на что и получили от нашего знаменитого сатирика весьма сочувственный ответ за подпись: «Ежедневно обедающий Щедрин». В иное время подобная приветственная студенческая телеграмма могла бы по праву быть подписана: «От ежегодно избиваемых студентов».

Почему же, однако, столь регулярно омрачался наш ежегодный безобидный, невинный студенческий праздник, неизменно сопровождавшийся непрерывным гарцеванием по улицам столицы усиленных нарядов жандармерии, конной полиции и бравых казаков с нагайками?

Объяснение, но не оправдание, конечно, оного, поистине прискорбного явления, могло бы быть, как мне кажется, дано беглым описанием, так сказать, «бытовой стороны» празднования студенчеством этой дорогой нам годовщины. В то время как некоторая, более состоятельная часть студенчества могла себе позволить отобедать в этот день в ресторане и вдоволь наслушаться речей известных писателей, адвокатов, литераторов, профессоров и других, как тогда говорилось, «представителей интеллигенции», так или иначе связанных в своем бытии с университетом; речей, всегда восторженных и «вдох-

новенных», но по условиям эпохи не шедших дальше чеховского положения: «Увидеть небо все в алмазах»<sup>89</sup>.

Другая, более многочисленная часть студентов, подкрепив себя доступным карману пивным или винным довольствием и закусив во славу родной *alma mater*, проводила этот день на улицах, прогуливаясь оживленной и дружной толпой по главным артериям столицы и оглашая уже начинавший становиться весенним воздух бодрящими звуками своих любимых традиционных песен: «От зари до зари», «Есть на Волге утес», «На свете папе славно жить» и др. Не обходилось, конечно, и без бессмертного «Гаудеамус»<sup>90</sup>, этого краеугольного камня мирового студенческого репертуара.

Вот эти-то, казалось бы, столь свойственные молодости и столь невинные проявления приподнятого, праздничного настроения и были предметом запретительного и карательного воздействия властей. На языке неумных и большей частью атавистически недоброжелательных по отношению к студенчеству полицейских «градоблюстителей» пение хором называлось «нарушением общественной тишины и спокойствия», а прогулки веселой гурьбой считались «скоплением» на улицах. И то и другое вызывало всевозможные репрессии, от отправки на ночевку в участок до казацких нагаек включительно.

Заканчивался знаменательный день и студенчество возвращалось к своему обычному замкнутому, разрозненному бытию. Разрозненность между студентами одного и того же факультета и даже одного и того же курса была настолько велика, что, как это часто обнаруживалось впоследствии, многие из нас, годами сидевшие рядом на скамьях одних и тех же аудиторий, не только не были между собой знакомы, но даже и не слыхивали друг о друге. Приезжие, иногородние студенты, объединялись по отдельным «кружкам», по своим «землячествам», а студенты городские, петербургские и совсем не были объединены, а жили своими личными интересами и интересами тех общественных кругов, к которым они принадлежали по рождению и воспитанию.

Мне довелось на жизненном пути моем быть свидетелем величайших потрясений. Судьбе было угодно, чтобы я жил и работал в эпоху еще небывалую в истории культурного человечества, в эпоху, которая предъявляет каждому живущему, совершенно независимо от того,

где и как он ее переживает, жестокий, необходимо тяжелый счет за самое право на существование физическое, а тем более духовное.

Впоследствии нашей *alma mater* пришлось пережить немало, и старые седые стены университета, некогда вмещавшие в себе при Петре всю административную машину нашего обширного государства, приютившие временно, при Павле, правительствувший Сенат и ставшие наконец рассадником и памятником российской науки, узнали много нового и небывалого.

Дождались они и полного объединения студенчества, целиком захлестнутого волнами неукротимой революционной стихии.

«Будь вечно жив, мой родной университет».